

Имя Осипа Любича, казалось бы, неотделимо от Монпарнаской канувшей в вечность эпохи, которая простиралась от окончания одной войны до начала другой и которую французы прозвали "сумасшедшими годами". Как всякий художник, родившийся вдалеке от Парижа, он едва ли не с детства мечтал о нем, но очутился он на берегах Сены даже раньше того, что мог предполагать, — благодаря случаю. Покинув Россию в 1920-м году, Любич помимо своего желания осел в Берлине, приобщаясь там к западному, новому для него миру. Он зарабатывал себе на жизнь, выполняя макеты декораций для Оперы и для театра "Синей птицы" — к варианту успевшей прославиться балиевской "Летучей мыши". Некий предприимчивый владелец какого-то парижского ночного ресторана посетил театр, прельстился любичевским декоративным талантом и тут же предложил ему расписать его монмартрское детище. Излишне говорить о том, что Любич, не задумываясь, принял заманчивое предложение, а выполнив заказанную работу, пустил корни в Париже надолго, навсегда.

Как-то само собой получилось, что он чуть ли не с вечера на утро включился в ту плеяду русских монпарнасцев, в которую входили Сутин и Кремень, Кикоин и замечательный, но, пожалуй, недооцененный скульптор Инденбаум. С ними у Любича как бы обнаружилось некое

"избирательное сродство", хотя, собственно, каждый из них в искусстве продвигался своими путями, которые друг с другом скрещивались. Может быть, среди них Любич, скромный и не шумливый по природе, был одним из тех, кто наиболее целомудренно относился к своему дару, больше других был ему предан и оттого больше других замыкался в собственную скорлупу. Он был вполне равнодушен ко всякого рода приманкам, способным, хотя бы ценой временных успехов, сбить его с поставленной цели, которая казалась ему ясной и не завлащиваясь в какие-либо метафизические туманы. Он хорошо знал, куда ему идти, какой дороги держаться, каких перекрестков избегать.

Он работал, в буквальном смысле, не покладая рук, и я не знаю, отрывался ли он когда-либо от своего карандаша или своей палитры. Работал он всегда с непроходящим горением, которое он тщательно хранил про себя, нередко принимая позу равнодушия. Может быть, эта "скрытность" (не могу подобрать более подходящее слово) происходила оттого, что в его характере была немалая доля застенчивости, и во всяком случае, его кажущаяся пассивность не была деланной, она была врожденной.

Я знавал Любича в течение многих лет, даже, можно сказать, десятилетий и он, собственно, мало изменился за этот отнюдь долгий срок, остался таким же, как был, и в жизни, и в живо-



Осип Любич

писи — разве что цвет волос уже не тот! Я знал, что периодами его парижская жизнь была легкой — ведь это только теперь, после всего пройденного, мнится, что в те далекие годы всем было "море по колено" — и ему приходилось уделять много времени подсобным и несомненно нудным работам, занимаясь разными видами прикладного искусства, или расписывая кем-то запланированные кинематографические декорации. Знаю я также, что никаких "излишков" в его кармане в те дни не было, но он всегда готов был прийти на помощь любому из своих знакомцев, даже приютить их у себя, и я не представляю, чтобы он с кем-либо мог повздорить.

В определенные часы он появлялся на террасе одного из облюбованных им монпарнасских кафе, точно приходил туда на службу. Подышать особым монпарнасским воздухом было для него необходимостью, это был его кислород. Но за традиционной чашкой кофе он больше слушал, чем спорил: видно, не видел большой цели в профессиональных спорах, потому что в глубине души в вопросах своего

искусства был упрям и настойчив, и переубедить его было трудно, если вообще возможно. На компромиссы он не шел и в своей живописи не соблазнялся легкостью, сторонился "моды", чуждался крайностей. Никакие преходящие — якобы передовые — течения его не увлекали, и хотя он дружил со многими из тех, кто исповедовал абстрактное искусство, их теории были ему всегда чужды. Он был мечтателем, и его видения часто не совпадали с теми, которые стояли на повестке дня и о которых подчас неумеренно шумела художественная критика.

Париж словно заморозил его, заморозило его — по давней традиции — серо-жемчужное предсумеречное парижское небо или еще берега Сены или Марны, вернее, те их отрезки, которые можно было писать сдержанными, трезвыми, будничными красками, минуя тупышность, которая вдохновляла некоторых великих импрессионистов. Более праздничные, более пестрые тюбики Любич придерживал для натюрмортов с пышными цветами и сочными "плодами земли" или для кривых и горбатых улочек

Александр Бахрах

МОНПАРНАССКИЕ ВСТРЕЧИ

Прованса, пропахших чесноком и лавандой.

Точно это было предопределено, этот одесский уроженец поселился на "рю д'Одесса" в облезлом доме, в котором в те дни помещалась популярная среди художественной молодежи Академия — сиречь, школа — Андре Лота. Там Любич прожил чуть ли не сорок лет и жил бы, вероятно, и по сей день, если бы дом не был обречен и не подлежал сносу. Там, в своем ателье он писал балерин в "пачках", к нему приходили модели, он переносил на холст многое из того, что было зарисовано им с натуры и хранилось в больших тетрадях — привлекавшие его цирковые сцены или задумчивых арлекинов. Любил он также писать натюрморты с самыми обычными предметами, не нуждающимися в какой-либо приукрашенности, писал с той простотой, которая так характерна для его мастерства.

Любич выставлял свои работы чуть ли не во всех больших Салонах, но индивидуальные выставки в Париже устраивал редко (кажется, последняя была в известной с давних времен галерее

Дюран-Рюэля, внука или правнука того самого, который опекал Писарро и его именитых коллег). В то же время выставки Любича были организованы в Лондоне и Нью-Йорке, Милане и Амстердаме, Цюрихе и Тель-Авиве, и где бы они ни происходили, он повсюду находил поклонников.

Он был неравнодушен к музыке; это заслуживает быть отмеченным, так как в своем большинстве художники музыкой мало увлекаются. Но Любич любил ходить на концерты и общаться с молодыми композиторами, и эту его тягу можно, пожалуй, отгадать, если более пристально вглядываться в его холсты. В них всегда налицо почти музыкальная гармоничность, отсутствуют детонирующие мазки, и можно подумать, что в одесском художественном училище, которое он посещал в юные годы, ему внушали не только азбуку живописного искусства, но и научили некоторым основам контрапункта, и эта премудрость его никогда не покидала.

Он любил рисовать, хотя бы несколькими штрихами заносить

в свою тетрадь то, что его поразило или чем-то привлекло, и недаром он говорил, что если его зарисовки придутся по вкусу хотя бы нескольким из его друзей, то это будет достойной наградой за его труд, которым он стремился выразить благодарность Создателю за все то, с чем ему удалось столкнуться: за людей, за зверей, за пейзажи и даже за неодушевленные предметы, добавляя при этом, что "ведь нет ничего более прекрасного, чем природа". Это чувство душевной нежности к окружающей природе, может быть, с наибольшей наглядностью просвечивает в его акварелях или гуашах.

Еще в давние годы он близко сошелся с Руо, который тогда был общепризнанным "мэтром". Однако Любич не подпал под мистически-религиозный импрессионизм своего друга, и эта его "стойкость", его иммунитет от чуждых влияний несомненно ему зачтется, тем более, что едва ли не при ближайшем содействии Руо был издан большой альбом любичевских акватинт, посвященных цирку, а в качестве предисловия к альбому фигурировала посвященная ему поэма Руо, который любил иногда изменять живописи ради поэзии. "Под звуки непритязательного оркестра забудь на мгновение твой крест, который иногда тяжело нести", писал Руо в своей поэме, не догадываясь, какой крест еще предстояло Любичу вынести.

Чехов где-то писал, что "искусство тем особенно хорошо,

что в нем нельзя лгать. Можно лгать в любви, в политике, в медицине, можно обмануть людей и самого Господа Бога — были и такие случаи — но в искусстве обмануть нельзя...". Я далеко не уверен, что до Любича могли дойти эти чеховские слова, но как бы то ни было, они в каком-то смысле могли бы стать его девизом: в самой большой и, может быть, единственной из его непреходящих привязанностей — в любви к своей живописи — он никогда не лгал, никогда не пытался хитрить, а ведь это уже немало.

Париж

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КУРЬЕЗЫ

ПОПУЛЯРНОСТЬ...

Мамонт Дальский перед началом спектакля в театре "Буфф" сидел в креслах. К нему подошел незнакомец и поклонился.

Дальский ответил поклоном. Они подали друг другу руки.

— Извините, — спросил незнакомец, — вы Мамонт Викторович Дальский?

— Да, я Дальский.

— Вы тот знаменитый Дальский, который играл Гамлета и так прекрасно?

— Да, это я... — Артист улыбнулся от удовольствия, тем более что разговор слушали две молодые дамы.

— Точно ли вы — Дальский? Наш знаменитый?

— Да! Я же вам сказал...

— Господин пристав, — обратился незнакомец к стоящему рядом человеку, — вручите ему повестку!

Дело в том, что Дальский умел делать долги, а кредиторы преследовали его жестоко.